



Владимир Ахмадьянович Рерих – известный казахстанский телеведущий и автор популярных ток-шоу, продюсер и режиссер документального кино, академик Академии журналистики РК, лауреат Государственной премии РК за фильм «Полигон» (совместно с О. Рымжановым, 1992 г.). Работал заместителем генерального директора, генеральным директором агентства «Хабар», генеральным продюсером Евразийского медиафорума. С 2012 года жил в Германии.

**Владимир РЕРИХ
(1958–2024)**

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЛЕНИНА

маленькая повесть

I

Список кораблей

Такой вот составлялся цуг: «Волга» М-21 с никелированным оленем на капоте принадлежала лохматому и весёлому доктору из психушки дяде Володе Мирных; он глаз имел чёрный, весёлый, горящий печным угольком, а из губ можно было борща сварить – так говорила его супруга, Антониды Ивановна, белобрысая, безгрудая, безбровая и лобастая, как Ленин. Она шпокала фиолетовые штампики на частное мясо, служа в лаборатории при базаре.

Наваристая работёнка, ядовито замечал Жевагин, жительствовавший напротив. У него был «Москвич» 407, маленький, крепко сбитый, брыкливый, словно конёк-трёхлетка. Жевагин считал себя донским казаком и шагал чуть вразвалку, делая отмахку правой рукой и придерживая левой невидимую шашку. При малом его росте это гляделось комично. Жевагин в горном техникуме вёл начертательную геометрию. Супругу свою, рыхлую и всегда хворую математичку, бранил при людях «квашнёй». Дочку, пламенно рыжую Маргариту, наливавшуюся сливочными формами, ревниво обожал и называл тягучим именем – Мара.

Коваленки рассекали на «Урале» М-62 с люлькой, похожей на культю в штанине, лишняя ткань которой заткнута за пояс. Обычно Коваленко ходил по двору в слоновьих галифе с широкими помочами вперекрест, а ступни в чеченских носках домашней вязки прятал в остромордые азиатские галоши. На службу хаживал в широкоплечем костюме с брючинами настолько просторными, что они вольно мотались вокруг голеней. На пиджачном лацкане тускло алела клякса ордена. Он был шишка, начальник ДОСААФа, член бюро чего-то. Жинка его, крупная, спелая, как августовская груша, большегрудая красавица с вразлётными бровями, носила неслыханное имя – Октавия! Коваленко по домашности обращался к ней сокращённо: «Оя». Сам же был Тарас Осипович, но соседи называли его «Оспович», он и привык.

Заразным отчеством наградила его своим германским выговором моя бабка, Амалия Богдановна. Она в аульной ссылке выучилась парикмахерскому делу и сохранила чемоданчик с томным названием «балетка», где в армейском порядке возлежали стригущие принадлежности: бойко чирикавшие ножницы, алюминиевая расчёска с кривенькими, но густыми зубчиками, ручная машинка с двумя лязгающими рядами зубчатых ножей, четырёхгранная палка с круглой рукояткой и кожаными ремнями повдоль – для правки лезвий. Немецкие бритвы назывались «опасными», их было две, назывались Zwillinge, близнецы. Этими клинками она скребла густо намыленный и бугристый череп Осповича до капустного хруста и глянцевого сияния, он одобрительно кричал и, отвергнув бабкин «пюльферизатор», выливал в ковшик ладони половину флакона «Тройного», растирая свою тыквенную лысину. Голос у него был мокротный, отобедавший борщом и варениками с домашним творогом.

Начальник милиции Багланбеков, улыбчивый и громогласный хохотун с гуталиновыми волосами и кукурузными зубами, встраивался в ряд на служебном «козлике» ГАЗ-69, но не с тряпочным верхом, а с железным; к нему присосеживался в пассажире безлошадный редактор районной газетёнки Едигей Корпешов, худющий, в чём душа держится, и с глазом, запечатанным бельмом.

И мы. На «Москвиче» 401.

На нём прителепал своим ходом из Воркуты Пауль Герхардович Ринг, в миру Павел Георгиевич. Он стал мужем моей матери, но не моим отчимом. Трудно сказать, кого я ненавидел больше, Ринга или его «ауто». Кургузенский, горбатенький, с передними крыльями, широкими, как бабьи панталоны, с капотом, вытянутым, как сморщенные губы всегда и всем недовольной старухи. Он постоянно ломался. Ринг, натянув промасленные треники, протискивался, виляя худым задом, под его дно и колупался там вечность, однообразно ругаясь: «Саб-б-ака, хундшайзе». Он был редчайший пример абсолютно безрукого немца, хотя и преподавал в школе «труды». Всё у него было на завязочках, на верёвочках, на проволочках, всё дребезжало, дымило, искрило и глохло.

Дворовые пацаны говорили: «Это немецкая машина. Фрицевская». Я бежался, тыча пальцем в табличку – смотрите, написано «Москвич!» Они пожимали плечами и настаивали: «Написано-то написано, а машина всё равно фрицевская». Чёрт, эта колымага действительно имела сходство с убудочными легковушками, на которых рассекали киношные гансы. И дверки у неё открывались не по-нашенски. Гадина. Я мечтал её поджечь, но вслух защищал от нападков. Дядя Володя Мирных, подслушав однажды наш спор, подвёл черту: «Пацаны, не о чем спорить. Все правы. Это советская машина, но сделана по образцу немецкой, которая называлась “Опель Кадетт”». Удружил, дядя Вова. Лучше бы она называлась «Гитлер капут». «Не расстраивайся, малыш, – хохотал Мирных. – Коваленковский “Урал” тоже от немецкого “БМВ” произошёл!» Но это не утешало.

Жили все в тупиковом переулочке, по обеим его сторонам паровозиками протянулись бывшие обкомовские особнячки, одноэтажные, густо погрязшие в садах-огородах-цветниках-курятниках. Каждый барак на две семьи, соседствующие через стенку.

Год стоял 1970-й, юбилейный. Ленину сто лет минуло.

Колонну возглавлял жёлтый багланбековский «козлик» с синим капотом – начальника милиции и подполковника кто на районе остановит?! За «козликом» пристраивалась мирныховская «Волга», задиравшая нос оленем, который, казалось, тащит её за собой в диком прыжке. Дальше жевангинский трёхлетка, нетерпеливо ёрзающий передними колёсами. Следом

коваленковский «Урал», в люльке которого, как страшный статуй, сидела замотанная до глаз оренбургским платком тётя Оя, а восседавший на пилотском месте Оспович в шлеме, очках, крагах, галифе и хромачах был великолепен до ужаса.

Ну и последними притирались мы – на старом фашистском пердуне, притворявшемся советской легковушкой. Нас потому ставили в хвост, что ринговский хундшайзе не мог взять даже лёгкую горку, под капотом мерзко забулькивало, а в кабину сизо пробиралось горелое масло, от которого саднило в горле и щипало глаза. Приходилось отставать.

Вот таким караваном повадились ездить по грибы! Раза три за лето выбирались. Гриб назывался белый степной, он рос под папоротниками, о которых всё на свете знавший дядя Вова Мирных сказал, что они ровесники динозавров. Ого!

В тот год грибная охота совместилась с майскими праздниками.

II Поехали с орехами

Подполковник Багланбеков, невысокий, гривастый, крепко склёпанный, чуть косолапый, в старых галифе, сетчатой майке и кедах, вылезал из «козлика», ощеривал рот крупнозубой улыбкой и, став лицом к колонне, подняв правую руку, мотал ею круги – заводи моторы! И они оживали всяк на свой лад: волжана, чуть присев, вскидывалась крупом и, коротко ахнув, урчала солидно; жевагинский москвичок, мелко трясясь тельцем, дёргался, кашлял и срыгивал сцеплением; коваленковский мотоцикл тархтел станковым пулемётом; а наш фриц, взыв визгливо, как баба, ужаленная змеей, жалобно верещал, сбиваясь с такта.

Багланбеков, сложив ладони рупором, кричал неслышное, но все знали, это было его коронное: «Поехали с орехами!»

Ну и поехали под восторженный рёв спиногрызов. Так Жевагин, техникумовский геометр, называл детей. Вот их список. С Мирныхом поехал младший его сын, Славка, мой ровесник. В багланбековском «козлике» сидела дочка начальника милиции Мадинка, моя тайная симпатия, задиристая, как пацан, и своя в доску. Мы дружились, вместе хулиганили, называлось – «шухарить». Ещё срезали шляпку жёлудя, выковыривали начинку, пробивали гвоздиком бочок, втыкали соломинку, получалась трубка мира. Её набивали сухим тополиным листом и дымили, сплевывая жуткую горечь. Полагалось после затяжки передать трубку, обтерев чубук рукавом, но мы с Мадинкой, не сговариваясь, этого никогда не делали. И получались тайные поцелуи.

Там же, в «козлике», рядом с одноглазым редактором Едигеем Корпешовым ютился его младший сынишка Андриян, а по жизни Антошка. У него рот всегда был полуоткрыт. Рыжая Мара Жевагина, дочка казака-геометра, королевишной сидела с ним рядом на переднем сиденье, огненный хвост елозил по спине, а сзади ютилась её мамашка, математичка, квашня, кошачьи пахнущая валерьянкой тётя Дуся.

С ними прицепилась Мария Николаевна Хурумова, наша классная, ростом с разохшуюся бочку, поставленную на бутылочные ноги. Лба не было вообще, от бровей начинались реденькие волосики, липко стелющиеся по черепу, глаза отсвечивали водянистой голубизной. Голос имела зычный. Школяры её люто ненавидели, а родители обожали, говорили – она вас научит свободу любить! Преподавала рус. яз. и литру. Во время урока разворачивала

творожный сырок с изюмом и шамкала набитым хавальником. Иногда рыгала и шумно переводила дух. Они с тётёй Дусей были подруги.

Наш экипаж состоял из нахохлившегося Ринга, пугливо вцепившегося в руль, моей бабки Амалии Богдановны, восседавшей на переднем сиденье и по-командирски оглядывавшей окрестности, а сзади тряслись мы с Софией Николавной Соколовской, увязавшейся с нами вместо мамы.

А мама моя – в который раз – отказалась от грибной охоты. Осталась дома моя печальная мама.

III Приехали

Улицы нашего местечка названий не имели, только номера: Третья, Седьмая, Двенадцатая. Но главная, где обком, была Ленина. По ней свернули на Восьмую, доехали до Одиннадцатой и напрямки вышли на шоссе, похожее на лаковой горбик ржаной буханки, которую передержали в печи. Тоскливо запахло горячим гудроном, шины зашелестели мелким и липким причмокиванием, звук этот был схож с подсасыванием барбарисовой карамельки, доносившимся изо рта Софии Николавны Соколовской.

Она была неопасной городской сумасшедшей, её держали на воле, иногда прятали в психушку и снова выпускали. Гуляла по городу в каких-то самошитых балахонах, в нахлобученной на голову дамской шляпке величиной с клумбу, а на руках имела драные перчатки из марли, прихваченные у локтей резинками от трусов. Она была из бывших и когда-то сидела в тюрьме, где и свихнулась. Приходила в гости к Мирным, дядя Володя был её лечащий врач и уважительно о ней заботился, приглашая на маёвки или по грибы. Заходила и к нам. Ринг её ненавидел, а мама любила пить с нею чай и говорить о здоровье. Она настояла, чтобы Софья Николавна поехала в нашей коробочке. Я её побаивался, как и вообще всех психических.

И эта наша машина, фрицевская рухлядь, конечно же, сдохла на перевале и долго стояла с разъявленным капотом, остывая.

Когда мы добрались до места, все уже хлопотали и обустривались; дверцы автомобилей были разведены в стороны, как руки простодырой бабы, ловящей ветер; женщины трясли и расстилали старые одеялки, тащили из багажников узлы со снедью, а мужья накачивали примусы, ладили керогазы и сооружали, пока день, спальные лежбища. Молодцеватый Багланбеков с помощью подслеповатого Едигея раскинул ладную и опрятную армейскую палатку, из её створок выглядывала счастливая рожица Антошки; геометр Жевагин, прикрутивши концы брезента к верхнему багажнику, развернул тент, опирающийся на рогатые колышки, вбитые в землю. Из-под него виднелась раскладушка и пыльные матрацы, свёрнутые в колбасные рулоны, на которых сидела рыжая Мара и отчего-то дула губы. Оспович окружил свой «Урал» шестью, вырубленными из молодых топольков, связал их между собой бельевыми верёвками, а сверху уложил лысоватый ковёр, пыльные края которого свешивались книзу, образуя вид походного шатра. Рядом с люлькой бросил на землю спальный мешок, и он лежал, как убитый солдат. А дядя Володя Мирных вообще не суетился, собираясь спать за рулём своей великолепной «Волги», отдав заднюю сидуху туловищу Марии Николаевны Хурумовой, а Славке и мне смастерил логово в заднем багажнике, куда моя бабча натолкала старых подушек, пахнувших могильной плесенью и лавандой.

Пауль Герхардович Ринг, воровато переодевшись в линялые треники, покрыл обезьянью плешь большим носовым платком с узлами на концах, поплевал на ладони и, ругаясь «саб-бакой», кое-как приторочил к верхнему багажнику, похожему на широкие салазки, два больших зонта, один из которых был сломан и не закрывался. Он собирался под ними спать, расстелив на поперечных планках какой-то собачий тюфячок, а салон своего вражеского Auto предоставил умалишённой гостье и бабке моей, которая уже возилась с допотопной керосинкой.

Все были деятельно заняты, лишь София Николавна, чьё имущество составлял дырявый летний зонт, погуляла по периметру нашего лагеря, закурила «Беломор» и уселась рядом со мной на тёплый валун.

– Славное местечко, – проговорила она надтреснутым голосом, гримасничая и щурясь от дыма. – Пейзаж с Полифемом в духе Никола Пуссена, не так ли, юноша?

Я промолчал, не зная, что ответить. Она продолжила, по обыкновению своему несколько картавя, словно перекатывая во рту недорассосанную «барбариску»:

– Ляндшафт недурён, но таит ковар-рьюню червьоточинку. Я видела в отдалении начисто обглоданный лошадиный черьеп. Это знак, юноша! Я полагаю, в складках сей местности в изобилии водятся господа прьесмыкающиеся. Змеям сейчас самый медовый месяц...

Вот это она напрасно сказала.

IV Страх

Есть слова, которыми я болею сызмальства. От связки «гоголь-моголь» мучительно ломит переносицу, и в лоб словно удав впивается, живьём высасывая костный мозг. От «кофты» разит пряным ядом подмышек, а «юбка» душит вкрадчивой кислотной паховых опрелостей. «Кальсоны» шибают в нос старческим ссаньём. Ненавижу все обозначения жранья с шелестящим и умилительным причмокиваньём: «молочко», «мяско», «кефирчик», «хлебушек», «маслице». От слова «жопа» тянет в блёв, от «морга» могу забиться в судорогах и пустить пену.

Но всё это пустяки рядом с ползучей гадостью, которая называется «змея». Это слово я страшился даже мысленно произнести.

В детстве я усердно хворал всеми напастями, способными в два счёта свести в могилу самого крепкого младенца: коклюш, корь, скарлатина, свинка и даже какая-то краснуха, не говоря уж о пустячной ветрянке. В жару лежал неделями. Иногда жар переходил в бред. Жизнь в теле начинала мелко и недобро трепетать, возле сердца сгущалась приторная, волглая, тошная истома, голова, казалось, разбухала и доставала до неба, ноги становились крошечными, как лапки паука-сенокосца, а перед глазами появлялась маленькая злая живая пружинка, которая вращалась вокруг себя быстро, как волчок. Это была она. Змея. Змейка. И отчётливо виднелась её булавоочная головка с крошечной пастью, где болтался раздвоенный язычок. Я отмахивался от неё, но тщетно, я отворачивался, изо всех сил закрывал глаза, но она была видна сквозь кипящее марево зажмуренных век и приближалась неотвратимо, и я почему-то знал, что если она коснётся меня, я провалюсь, рухну в страшную, чернильно-чёрную бархатную тьму, где нет ничего, и я стану частью этого ничего.

И мама подхватывала меня на руки, и я закатывался до судорог и, тыча ей в лицо ладошкой, всё повторял в ужасе – ты змея, змея! Но я этого не помнил в забытьё.

Так в меня вошёл этот страх. Детство шло, я рос, но он не уходил и подстерегал меня, оплетая в сумерках шнур электрической лампочки, таясь в заламах ковровой дорожки. Он шелестел под подушкой, заставляя вскакивать на постели и сидеть, обхватив руками колени, едва дыша от губительного ужаса. Страх то и дело накрывал меня внезапно, безо всякой болезни, и не только ночью, когда казалось, что змея лежит под кроватью и стоит лишь спустить босые ноги, и она вцепится в меня своими зубищами, но и среди бела дня под летним солнцем. И тогда я бросал игру, бежал домой или в сад, но эта гадина свешивалась с яблоневого ветки или пряталась под буфетом, блестела чешуёй в черноте вентиляционной дыры фундамента, извивалась в помидорных грядках и дремала в засаде под слоновьими ушами лопухов, растущих по краям огорода.

Вдруг он исчезал бесследно. И появлялся вновь. И нельзя было угадать, почему.

V Штурм

И вот после слов Софии Николаовны скользкий, холодный, чуть влажный страх юркнул за пазуху, перебрался за шиворот, заполз в штанину, угнездился холодным комом на животе, обвил моё горло и стал душить, как Лаокоона – я видел эту жуткую картинку, она мне снилась, доводя до крика, до воя, до скрежета зубовного, до неудержимой рвоты и судорог.

Я по-прежнему сидел на тёплом валуне, но тут будто выключили звук, настала ватная тишина, в которой грибники собирались на охоту, помахивая – кто цинковым ведром, кто эмалированной кастрюлькой, кто просто нитяной авоськой, и только у Осповича была настоящая ивовая корзина, а у Жевагина линиялый армейский рюкзак, закинутый за плечи. А рыжая Мара, туго стянувшая густые волосы чёрной лентой, стала красавица в стройных лавсановых брючках и нейлоновой водолазке, уже взбугренной изнутри острыми зачатками грудок. Видел, как Мадинка вертела головой, ища меня печальными глазами, но не находила, потому что я уже забрался в наш фрицевский москвичок, задраил все окна и сидел, задыхаясь от духоты, дымясь горячей испариной и дрожа от стылого ужаса в животе, а пот струился в глаза, превращая всё видимое в подводную муть и слякоть, сквозь которую Багланбеков, размахивая руками, что-то говорил Едигею Корпешову и, кажется, хохотал во весь свой спелый кукурузный рот, растянутый алыми помидорными губищами.

– Was ist mit dir passiert? Bist du krank, mein Engel? – ударил в уши встревоженный, мокрый голос бабушки. – Ты заболел?

Я не заметил, как она распахнула дверцу.

– У меня живот болит, – промямлил я хрипло. – Я полежу тут. Ты иди...

Звуки вернулись, но стали крупными, как грохочущие голоса невидимых великанов, которые раздаются в ночи на полустанке, когда проснёшься в купе от стука молоточка обходчика – дынь!

Я смотрел в удаляющуюся спину моей Ота и ревел. Оплакивал себя и её. И маму. Потому что сегодня змея меня убьёт.

Я увидел гроб, неряшливо обитый пятнистым кумачом, он стоял на двух кухонных табуретках, а в нём себя в белой рубашончке с красным галстуком

на шее, с лицом багровым и вздувшимся, с неплотно сомкнутыми веками, сквозь щели которых виднелись тусклые полоски незрячих глазных яблок; в изголовье и в изножье гроба стояли мои одноклассники в мятых пилотках и терпеливо держали чуть дрожавшие руки, вскинутые в пионерском салюте; я видел нашу тахту, где сидели сопливо рыдающие женщины, обнимавшие за плечи мою маму, а она раскачивалась из стороны в сторону и кричала, страшно и неостановимо кричала, и острый запах сердечного лекарства, которым отпаивали бабушку в соседней комнате, смешивался с чуть приторным цветочным ароматом, хвойной горчинкой и сладковатой покойницей вонью, истекавшей от меня, а крышка гроба, прислонённая к внешней стене дома, вдруг накренилась, царапая штукатурку, рухнула и перевернулась, открыв сучковатую желтизну своей ужасной изнанки.

Я дернул на себя лязгнувшую ручку, вышиб коленом дверцу и вывалился наружу. Подошвы ступней горели адовым огнём. Я знал, что змея изготовилась под металлическим дном нашего москвичка и сейчас прыгнет и вопьётся мне чуть выше лодыжки. Боль будет ослепительная, как вспышка электросварки.

«Не догонишь, сука!» – визгливо крикнул я под машину и побежал, заплетаясь тряпочными ногами.

Местность выглядела так. С одной стороны высились сопки, столкнувшиеся лбами, как два упрямых барана. У подножия этих холмов и стоял наш лагерь – рядом с оврагом, где жил зуболомный ручей, истекающий из пульсирующего родничка. За овражком начиналась дрожащая мангальным маревом степь, там умело прятались под резными опахалами папоротников упитанные и справные, как ладные солдатики, белые грибы. Там аукались сейчас голоса наших охотников.

От места, где крутые лбы сопки сшибались, змеилась осыпь каменной шелухи, по которой я стал карабкаться, то и дело скользя вниз вместе с подвижной гранитной чешуёй. Каменные блинчики были горячи, ноги на них разъезжались, как на льду, колени бились об острые зазубрины, но я судорожно полз, не понимая, куда и зачем лезу. Добравшись к началу осыпи, не передохнув ни секунды, я свернул на почти отвесный склон правого холма, хватаясь за кусты, которые были чудо как хороши издали, но оказались вблизи зубастыми, как дикие собаки. Они в кровь изорвали мои руки, располосовали плечи, шею, лицо, и каждая колючка была, как ядовитый зуб; я задыхался и хрипел, выхаркивая из разрываемых острой болью легких взрослые матерки, которые цеплялись за распухший язык, покрытый липкой слизью; в ушах тошно зуммерил звук, предшествующий появлению злой пружинки, маленькой змейки моих младенческих бредов – я стиснул глаза, но гадина выползла из кипящей изнанки век и устремилась ко мне, трепеща раздвоенным язычком из разверстой пасти.

Я подтянул разбитые колени к груди, ухватился окровавленными ладонями за стволы кустов и, подтянувшись из последних сил, бросился на них всем телом, но они вдруг просочились вдоль книзу, разодрав кожу на животе, и взору моему открылась синяя пустота неба.

Это была вершина.

VI Царица

Вершина оказалось круглой, идеально ровной площадкой, на которой ничего не росло, даже мхов, лишь в центре высилось небольшое сооружение,

кособокая пирамидка, сложенная из пористых глыб серебристого оттенка. Я подошёл ближе. Верхний булыжник был плоский, как коровья лепёха, на которую кто-то накакал большой серо-зелёный котях, свернувшийся окаменевшей спиралью. Наверное, туристы, подумал я и повертел головой, ища глазами палку или ветку, чтобы разрушить дурацкий памятник, но плешь холма была опрятно чиста. Перевёл взгляд на сооружение, намереваясь хотя бы на него плюнуть, но говняшки вдруг едва заметно зашевелились и стали похожи на скрученный садовый шланг, в который пустили воду; он стал влажно темнеть, надуваться пульсирующими толчками, и выпустил жирный стебель, увенчанный треугольной мордой, облепленной чешуйчатыми пластинками.

Это была змея. Огромная. Она пялилась на меня своими жёлтыми очами с чёрными прорезями вертикальных зрачков и едва заметно покачивала башкой из стороны в сторону. И от неё потянуло ледяным трупным смрадом. Я попятился, не отрывая взгляда от её морды, и, развернувшись на каблучках, бросился с горы огромными прыжками, не разбирая дороги, скатился кубарем к подножью, и мрак навалился на меня и увлёк за собой в глубокую трясину чёрного ничего, где стал я никем, ничем.

VII Непонятное про Лазаря

Ледяная, пропитанная едким запахом струя сильно ударила в нос, в голову, прыгнула в горло, я криком выкашлял из груди воздух, задышал и разлепил глаза – надо мной склонилось мясистое, губастое, пористое лицо дяди Володи Мирных. «Во-от, – сказал он едва слышно. – Одыбался? Молодец. Сейчас лечить тебя буду. Терпи, казак, атаманом будешь...»

Разбитые вдребезги коленки, изрезанные в лохмотья руки, сочащиеся сукровицей ссадины на лице, на плечах, на спине и животе – весь этот фарш доктор Мирных, у которого нашлась походная аптечка, промыл шипящей перекисью водорода, прижёт охрой кусачего йода, законопатил огненной зелёной, заклеил крест-накрест пластырем и запеленал бинтами, как мумию.

Я был как ободранный цыплёнок, посыпанный красным перцем и брошенный в раскалённое масло чугунной сковороды, но не ревел, не хныкал, не скулил, а, скорее, чувствовал какое-то щекочущее удовольствие от жгучего лечения. И на душе было легко и чисто, как после бани, я не чувствовал страха, он остался там, вершине горы. «Ну чё, молодец, старичок, – похвалил меня дядя Володя. – Мужик! Ещё бы противостолбнячную сыворотку вогнуть тебе в попенцию, но чего нет, того нет. Что ты забыл на этой сопке?» Я улыбнулся, насколько позволили разбитые губы, и прошептал: «Никому не скажете? Я был в гостях у Змеиной Царицы!» Дядя Володя потрянул шевелюрой, закурил и помог мне выбраться из «Волги». Он обмотал меня старой простынёй, вручив окровавленный комок моей одежды бабушке, подвывавшей от ужаса непрерывной скороговоркой «майнготтмайнготт», и понёс на руках к палатке Багланбекова, которую тот застелил кошмой и жевагинскими матрацами с ковровой подушечкой от тёти Ои.

Возле палатки стояли все грибники, радостно и невразумительно гомоня, а Павел Герхардович Ринг, содрав с головы дурацкий платок с узелками, утирал им мутные слёзы и прикрывал прыгающие вразнос тонкие губы свои. Дядя Володя поставил меня у входа, придерживая за плечи, а Оспович, молча улыбаясь борцовскими губищами, вручил мне в подарок мотоциклетные очки, которые, миновав голову, утвердились на шее, как фараонское ожерелье. Тётя

Оя дала мне великолепный, как на картинке, белый гриб и велела: «Засуши на память!» Славка Мирных сунул мне свой драгоценный, лучший в нашем дворе пугач и солидно обронил: «Заряжен!» Подслеповатый редактор Корпешов, вынув из кармана крупный, как известковый камень, курт, сказал: «Скушай ево и будишь на здоровье, балам!» Огненноволосая Мара, застенчиво кося в сторону, протянула мне аккуратно обёрнутую газетой общую тетрадь, тихо шепнув: «Потом посмотришь». Мадинка с блестящими, чёрными, как асфальтовая смола, глазами, поцеловала меня в нос, и папка её, главный милиционер Багланбеков, вкусно расхохотался, погрозил ей пальцем и воскликнул: «Кызым!»

Мария Николаевна Хурумова, беседуя в отдалении с моей всхлипывающей бабушкой, назидательно, как на уроке, успокаивала её:

– Амаль Богданна, хватит слезоточить! Подумаешь! Мальчишка и должен быть хулиганистый. А то он у вас какой-то тихий, смиренный, всё книжки читает, как старик! До свадьбы заживёт!

А София Николавна Соколовская, выпустив облако беломорного дыма, заключила сцену таинственным словечком:

– Инициация, юноша!

И выкрикнула совсем уж непонятное: «Лазарь! Иди вон!»

VIII Разговорчики в строю

И вот я угнездился под полотняными сводами, дыша горячей пылью брезента, овечьим мускусом войлока, ландышевым уютом ковровой подушки-думки вперемешку с аптечной дрянью, покрывшей карамельной коркой мои сладко зудящие раны. Полистал подарок Мары, оказавшийся её секреткой. Там были песни из кино про любовь, а на первой странице красовались грубо намалёванные мальчик и девочка, протягивающие друг другу руки, растущие у них из одного плеча. Возле головы мальчика значилось моё имя, а возле девочки корчился жирный вопросительный знак. Полубовался на себя и уснул, обдуваемый душистыми сквознячками степи, готовящейся ко сну и умывающейся закатными ветрами. Было темно, когда меня разбудила Мадинка, сунув под нос горячий пирожок с печёночным ливером. «Твоя апашка сготовила, – шепнула она, ткнувшись мне в висок холодным, как у собаки, носом. – Меня за тобой послали. Идём?»

Вся гоп-компания сидела, вытянувши ноги, вполубок вокруг костра, обложенного закопчёнными камнями и окружённого подковой из старых скалтертей, вытертых половичков, клеёнчатых подстилок, лоскутных одеял, слинявших от времени, прожжённых телогреек, опрокинутых навзничь, и пары б/ушных шинелек с выведенными хлоркой цифрами на ветхих подкладках. Сверху, на газетах, красовалась снедь: рубленые шматки варёной колбасы, вспоротые жестянки рыбных консервов, варёные картохи с лохмотьями мундирных шкурок, сало, расчленённое на дольки, не отделённые от нижней шкурки с щетинками, ломти полубелого и ржаного хлеба, баурсаки, скрученные ленточки вяленой баранины, соль в спичечных коробочках, квашеная капуста в мисках, откупоренные банки маринованных помидоров домашней выделки, разноцветный, как мозаика, винегрет в эмалированном тазике с щербатыми краями и алюминиевая кастрюля, полная бабушкиных пирожков с печёночным ливером. У входа в подкову шипел примус с закипающим вёдерным чайником, беззвучно перемигивал керогаз и гудела керосинка – на них стояли дюралевые казанчики с булькающей грибной похлёбкой, которую

казак Жевагин называл «кулеш». Он и разливал его по старым тарелкам с надписью «общепит», по гнутым железнодорожным мискам для первого-второго, по разнокалиберным кесешкам и пиалкам, по всему, куда можно было плеснуть этот обалденный пильцензуппе.

Они уже выпили. Когда я, опираясь на Мадинку, доковылял до костра, разливали по второй: мужчинам водку по гранёным стопкам, женщинам Портавейн 777 в чайные чашки. Водка была всякая: Жевагин выложил бутылку с зелёной наклейкой и пляшущими вприсядку буквами; Багланбеков, поцеловав донышко, утвердил ввинчивающим движением флакон «Столичной»; доктор Мирных предъявил пузатую склянку с чистым спиртом, а Оспович, застенчиво сопя, выставил огнетушитель из-под вермута, наполненный горилкой.

Мария Николаевна Хурумова потребовала чаю: «Уж извините, товарищи, но потретьякать алкоголь на глазах своих учеников я не стану!»

Софья Николаевна Соколовская спросила водки и выпила мучительно мелкими, долгими глоточками чайный стакан, наполненный до краёв. И, жадно закусивши пирожком, выдала: «Да здравствует Бордо, наш друг!» Хурумова, косо глянув на неё, ядовито осведомилась, поджав губы: «Вам не вредно ли такими порциями? И без тоста пьёте, отдельно от всех. Не по-советски как-то!» На что Софья Николаевна рубанула громко и звонко: «*Vel pace, vel bibat!* Кто не пьёт, тот стукач!» И все растерянно замолчали. Паузу сломал Павел Герхардович Ринг, который обычно не пил, но в тот вечер несколько поддал и даже раскраснелся.

– Ви мене извините, – заплямкал он с неожиданным акцентом, – но стукатш имеет плохой бедойтунг! В нашем Воркутляг за этот слоф могли отшень на перо потсадить!

– *Deshalb bin ich überrascht, dass es dir gut geht!* – мгновенно припечатала Соколовская на родниково чистом немецком. – Вот я и удивлена, что вы легко отделались!

Моя бабка, Амалия Богдановна, ошеломлённо выдохнула: «*O, mein Gott!*»

Софья Николаевна стремительно развернулась к ней:

– *Tante Amalia*, уж поверьте, я дорого заплатила за то, что я Соколовская. Мало кто знает, но такая же фамилия была у первой жены Льва Давыдовича Троцкого.

– *O-o-o!* – взвыла обличительным басом Хурумова. – Оттаяло вражеское болото! Заквакали недобитые лягушки. Вы мне это немедленно прекратите! Тем более в год рождения Ильича! Имя Ленина для нас свято, и мы не дадим поганить его вражескими ртам!

– А при чём тут Ленин? – наждачно осведомился Жевагин, тщательно расчмокивая сигаретку «Новость» от горящей веточки. – Моего отца, Германа Курчева, замордовал Сталин. Какой-то мрази в ГПУ не понравилось его имя. А на самом деле за то, что он был когда-то подъесаул! В Жевагина меня матушка перекрестила от греха, когда батю посадили.

– *Дурыс, дурыс!* – закивал редактор Корпешов, трепеща бельмом. – Многово горе принёс и для моего народ этот қара шақал Сталин.

– А ты бы вообще молчал, национальная интеллигенция! – вызверился вдруг на него Жевагин. – Мы вас, понимаешь, стоя ссать научили!

И тут отчебучил подполковник Багланбеков. Он привстал на колени, сунул руку в карман старых галифе и, резко выбросив её вверх, оглушительно пальнул в звёздное небо. Женщины вскричали вразнобой и визгливо, как сломанные скрипки в спятившем оркестре, а мужики вскочили на ноги и застыли в дурацких позах, только Оспович не шелохнулся.

– Я тут власть, между прочим, – молвил Багланбеков, улыбаясь и разжимая ладонь, где уютно свернулся маленький пистолетик. – Это стартовый. Не боевой. А жалко.

– Между прочим, – невозмутимо заметил Мирных, – мочиться стоя не такое уж эволюционное достижение. Сидя физиологичнее, эвакуация урины происходит лучше...

– Ша! Хватит языки полоскать! Краще я вам пісеньку заспіваю, яка мені любя, – встрял вдруг Оспович. Он мокро прохрипелся и начал: – Зэка-а, слухай сюда! Долинский конвой шуток не понимает, шаг влево – агитация, шаг вправо – провокация, прыжок вверх – побег, конвой открывает огонь без предупреждения! В пятёрках соблюдать равнение и хранить дистанцию. В промзону бодро и с песней ш-а-а-гом...арш! – Оспович выждал паузу, обвёл взглядом всех и благодушно ощерился: – Ну, шо притихли, голуби? Пісэнка называется «Молитва конвоя». И я её не співал, в гробину мать. Я её слухав пять років. В Карлаге. А тапер – ша. Реабилитирован и восстановлен. Вот и ладушки, братушки, – продолжил он. – А тапер давайте выпьем за дорогого нашего Ильича. Не за того, кто за резной стеной во дворце сидит. А за того, кто перед ней в каменном ларце лежит!

– Ну, – поднялась, кряхтя, Хурумова, – за этот тост и я выпью! И водки мне налейте, по-наркомовски!

И все разом зашумели, повскакивали, стали наливать и чокаяться. Выпили и заново набросились на еду.

– А вот Ленин, – пискнула Мара, обхватив коленки, – он же совсем не старый был, когда умер. Я же посчитала...

Все на неё уставились, жуя, а Оспович, допив самогон из кружки, крякнул, кивнул и уточнил:

– Пятьдесят четыре. Как мне сейчас.

– О господи, – вздохнула тётя Оя. – Совсем же молодой ещё был мужчина. Жить бы да жить.

– Ну, так, понимаешь, – неразборчиво прочавкала Мария Николаевна с набитым ртом. Громко сглотнула и закончила: – Если бы не эта еврейка. Пули-то отравленные были! Пожил бы...

– А вы убеждены, что стреляла именно Каплан? – ядовито осведомилась Соколовская, но ответа не удостоилась.

– Господи! Он же мог дожить до Победы! – всплеснула руками жена Жевагина, тётя Дуся. – Было бы ему всего семьдесят пять!

– Мог бы, – охотно согласился её муж, казак и геометр, закладывая в рот охапку квашеной капусты. – Но кому суждено быть повешенным, тот не утонет.

И предложил выпить за праздник Победы, который был уже не за горами. И выпили.

– Владимир Николаевич! – звонко обратилась Мара к дяде Мирныху. – Как вы думаете, лет через пятьдесят могут Ленина оживить?

Тот пожал плечами и развёл руки по сторонам.

– Майн Готт, – сказала моя бабушка и зашевелила губами. – В каком году ему исполнится 150? Хундерт фуфциг. Унмёглихь!

– Warum können wir uns das nicht vorstellen? – раздражённо спросила София Николавна. – Это будет... 2020 год!

Тут все взвыли, захохотали до слёз, до кашля, до соплей, маша руками и крутя головами. Дядя Мирных, стараясь обуздать поднявшийся трамтарарам, выкрикнул:

– Товарищи! А вы знаете, что на Кавказе живёт Ширали Мислимов? И ему сейчас 164 года! Вы представьте, когда родился Ленин, ему было уже 65 лет. Он мог видеть Александра Первого! Наполеона! Он был взрослым человеком, когда Лермонтов стрелялся на дуэли с Мартыновым! И на Чёрной речке, где убили Пушкина, он тоже мог быть!

– Стоп-стоп-стоп! – решительно вклинилась Хурумова. – Откуда у вас такие сведения? Вы ответственно доводите до нас эту информацию?

– Более чем, милейшая Мария Николаевна! Эти сведения я почерпнул из газеты «Труд». Орган ВЦСПС, между прочим!

– Ну, знаете ли. Я поверю, когда прочитаю это в «Правде». Орган ЦК.

– Нам всё равно столько не прожить. Да и зачем? – меланхолически подытожил Жевагин. – Зато дети наши до 2020 года, надеюсь, доскрипят. И увидят наконец самый настоящий коммунизм. Без денег, без границ, без болезней, и каждому по потребностям. А в бензобаки будут наливать простую воду. Ага. Кстати, спиногрызы, а вам не пора сыграть в отбой?

И тут впервые за весь день подал голос Андриян Корпешов, он же Антошка с вечно полуоткрытым ртом.

– А можно мне ещё кусочек верчины? – жалобно спросил он, и все опять заржали как кони. Он никогда не ел ветчины, поэтому ошибся...

IX Отбой

Мадинка, Мара и Славка дотащили меня до палатки.

Я лежал на спине лицом к выходу и, высунув голову, глазел в ночное небо. Оно было угольно чёрным, как театральный бархат, щедро посыпанный бриллиантовой пылью. Смотрел, не мигая, и звёзды набухли, стали крупными, игольчатыми, они пылали нестерпимым, режущим огнём, чуть дрожа и недобро мигая. Я знал, что вижу лишь свет, летящий со страшной скоростью из бездны, которую представить нельзя, иначе с ума сойдёшь, а их уже нет, или они совсем другие. Но пройдёт ещё полвека, а ночное небо будет таким же. Люди, сидящие сейчас вокруг костра, умрут, исчезнут. А я стану шестидесятилетним стариком, и это тоже невозможно представить.

Я изо всех сил распахнул веки, и глаза наполнились горячечным маревом, в котором ледяные звёзды стали выплясывать и кувыркаться. Я смотрел на них и еле слышно называл годы, которые предстояло прожить. 1971... 1982... 1991... 2000. Добравшись до конца века, я страшно удивился и мучительно подсчитал, что мне будет уже сорок. Как сейчас дяде Володе Мирныху. Я продолжил карабкаться по звёздам, мысленно называя новые вехи: 2001... 2005... 2007... 2010. Но эта дорога, открывавшаяся двойкой, была уже какая-то чужая, неродная, она никак не проглядывалась, не представлялась, цифры стали меркнуть, и на конечной остановке 2020 мгла поглотила свет, и я провалился в чёрное ничего.

Дядя Володя пришёл меня навестить, разбудил, заставил лечь нормально и укутал всем, что было под рукой. Я спросил его, еле ворочая тяжёлым языком: «А Ленина правда оживят в 2020 году?»

Он помолчал, закурил, выдохнул дым и ответил твёрдо:

– Ещё как оживят. Вот увидишь.